

«ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА»

Заметка в газете «Возрождение» от 10 ноября 1927 года: «5 февраля в помещении Торгово-Промышленного союза состоялось первое собрание кружка «Зеленая Лампа». В. Ф. Ходасевич прочел небольшое вступительное слово об одноименном кружке, существовавшем в Петербурге в первую четверть минувшего столетия. Затем о задачах и настроениях кружка говорил Д. С. Мережковский. С докладом на тему о литературной критике выступил М. О. Цетлин. В прениях приняли участие Г. В. Адамович, М. В. Вишняк, В. А. Злобин, З. Н. Гиппиус, Н. А. Оцуп, Ю. К. Терапиано. К сожалению, за поздним временем не все записавшиеся ораторы успели высказаться».

Литературных кружков затевалось тогда в Париже много, и чаще всего они увядали через год-другой: из-за того ли, что состав участников был случайным, из-за разногласий, причем не только художественных, из-за тысячи других причин. «Зеленая лампа» просуществовала двенадцать лет. Последнее заседание прошло в конце мая 1939-го. Осенью встречи и дискуссии должны были возобновиться, но помешала война.

Такое долголетие особенно удивляет из-за того, что «Зеленую лампу» трудно назвать кружком единомышленников. Сохранились протоколы беседо-

ваний и обсуждений за многие годы; среди выступающих люди очень разной ориентации — общественной и эстетической. Соседство имен обескураживает. Рядом с Кириллом Зайцевым, православным мыслителем и будущим архимандритом, — марксист Ст. Иванович, своей ортодоксальностью докучавший Милюкову в «Последних новостях». Рядом с Мережковскими, непримиримыми к большевизму, — будущий возвращенец и член Союза советских писателей Антонин Ладинский и Николай Клепинин, вскоре завербованный иностранным отделом НКВД. Рядом с Буниным, для которого вся новая литература — Блок, Белый, акмеисты, имажинисты — символ творческого бессилия, вырождения и пошлости, вышколенный этой новой литературой Георгий Иванов. И тут же антагонист Иванова, но тоже многими нитями привязанный к Серебряному веку Ходасевич, тот, о ком Бунин в минуту раздражения досадливо отзовется: «Со своим маленьким чемоданчиком прошествовал по жизни с таким видом, точно у него горы багажа».

Смешение невообразимое, почва самая взрывчатая, и все-таки «Зеленая лампа» держится, хотя темы порой выбираются крайне опасные, так что конфронтация становится неизбежной. Легко представить, какие чувства вызывает читаемый философом Георгием Федотовым доклад «Защита свободы (о настроениях молодежи)» у сидящего в зале поэта Бориса Поплавского, представителя и даже идола этой молодежи. Федотов все больше тяготеет к строгому православию, для него современная культура — взрыв варварства и отвратительный праздник вседозволенности. А молодые, особенно Поплавский, буквально молятся на авангард, бравлируя своим неуважением к «заветам», доставшимся от стариков. Неделю спустя, в феврале 1931-го, обсуждают тему «Где свобода?». О чем говорить друг с другом выступившим в прениях Мережковскому и Клепинину?

Тем не менее «Зеленая лампа» продолжается, а круг участников в конце ее истории все так же широк, как был в начале: Милюков и Керенский, Борис

Зайцев и Куприн, художественный критик Сергей Маковский, создатель и редактор знаменитого журнала «Аполлон», литературовед Константин Мочульский, философ Борис Вышеславцев, Адамович, Берберова, поэты Владимир Смоленский, Анатолий Штейгер, Довид Кнут... Словом, весь Париж.

Та заметка в «Возрождении» появилась за подписью Гулливер — этот псевдоним Ходасевич и Берберова, тогда еще составлявшие союз, использовали, если писали вместе. Очень скоро Ходасевичу начала претить идеологическая нацеленность, которую хотели придать «Зеленой лампе» Мережковские, настаивая на таких темах, как противоречия между иудаизмом и христианством, превращение Европы в царство Содома и толкование Апокалипсиса Розановым. Ходасевич остыл к литературному обществу, которое на глазах становилось религиозно-философским. Весной 28-го года он писал соредактору журнала «Современные записки» Вишняку: «Одно хорошее стихотворение нужнее и Господу угоднее, чем 365 (или 366) заседаний Зеленой Лампы». Несколько раз Ходасевич не без едкости отозвался о Гиппиус и ее круге — о «Мерезлобине», как он их совокупно называл. Гиппиус, конечно, не осталась в долгу, презрительно заметив, что ей не о чем говорить с людьми, которые неспособны «понимать метафизику».

В «Зеленой лампе» Ходасевич почти не участвовал. Однако как раз его речь, посвященная «нашей давней соименнице» — той «Зеленой лампе», которую посещал Пушкин, — ясно определила главную цель нового общества, а верность этой цели позволила обществу, вопреки несовместимости взглядов и позиций участников, полтора десятка лет быть центром духовной жизни России вне России.

Ходасевич говорил о том, что кружок, собиравшийся в самом начале 1820-х годов у Якова Толстого и Никиты Всеволожского, не ставил себе целью «перевернуть мир» (хотя доносчик Грибовский высказывал в рапорте на высочайшее имя именно эти опасения) и что общество, которое сто лет спустя берет себе такое же имя, также должно избегать политиче-

ских амбиций. Задача другая: «Среди окружающей тупости, умственной лени и душевного покоя ... беречь умы и оттачивать самое страшное, самое разительное оружие — мысль... Мы хотели бы здесь о многом помыслить главным образом — не страшась выводов».

В этом отношении парижская «Зеленая лампа» полностью оправдала ожидания, которые с нею связывались. Мережковский не понапрасну назвал это общество лабораторией. К тому оно и стремилось — стать больше чем дискуссионным клубом, научиться истинной свободе и слова, и мнений, и духа. Выражая не только свой взгляд, Гиппиус на втором заседании «Зеленой лампы» 24 февраля 1927 года говорила, что подобной свободы русское общество никогда не знало да и не хотело и что эмиграция, каким бы она ни являлась несчастьем, предоставила первый, уникальный шанс к этой свободе приобщиться, покончив с узостью и доктринерством, с трепетом перед идолами. Пора освободиться от партийности, требующей твердокаменного почитания лозунгов. Опыт чужбины станет школой духовной жизни, которую уже не контролирует «вежливый «пресекающий» в кулисах, как было недавно». И Гиппиус подводила итог: «Научиться свободе — что это значит? Вот формула: это значит найти для себя, для всех и для каждого максимум ее *меры*, соответствующий времени. А выучиться свободе — пожалуй, главная задача, заданная эмиграции».

«Зеленая лампа» сделала максимум для того, чтобы задача оказалась выполненной. Тут нет большой заслуги самой Зинаиды Николаевны. Как раз ей (а Мережковскому еще менее) едва ли была свойственна широта воззрений, а уж особенно терпимость к тем, кто эти воззрения не разделял. Ее отповеди людям, не ощущающим душевного родства с «Мерзлوبيным», с каждым заседанием «Зеленой лампы» становились все более резкими. Остались декларацией верность принципу личности, требование, чтобы признавали «отличия одной пары глаз от другой». В действительности всем предписывалось смотреть на вещи так,

как считалось правильным на рю Колонель Бонне 11-бис. Гиппиус, конечно, пришла бы в негодование, посмей кто-нибудь заметить ей, что подчас она сама схожа с упомянутым ею надзирателем, который стоит за спиной пианиста и, тыча наганом, указывает ему: «Левым пальцем теперь! А теперь вот в это место ткни!» Но по существу примерно эту роль она на себя и взяла в «Зеленой лампе», особенно в 30-е годы.

Идея «Зеленой лампы» родилась в салоне Мережковских, который возобновился вскоре после того, как они добрались в начале 1921 года до Парижа — через Минск, Варшаву и Висбаден. Воскресные чаепития на рю Колонель Бонне продолжались до июня 1940-го, когда, за десять дней до вступления немцев, хозяева уехали на юг, в Биарриц. На этих чаепитиях происходило что-то вроде генеральной репетиции готовящейся новой дискуссии в «Зеленой лампе» («У кого мы в рабстве? (О духовном состоянии эмиграции)», «В чем соблазн большевизма?», «Революция и религия» — темы, как правило, определяла Зинаида Николаевна) и производился смотр новых литературных сил зарубежной России. Практически никто из мало-мальски заметных дебютантов не избежал необходимости предстать перед скептической, насмешливой Гиппиус с ее прославленным лорнетом, в который она когда-то пристально и недоуменно рассматривала есенинские валенки.

Особенного расположения к ней не чувствовал, кажется, ни один из них. Отзывы людей, знавших Гиппиус в разные времена, — свидетелей, совершенно несхожих друг с другом, — созвучны в том смысле, что всеми признается яркость, значительность ее личности. Но всеми отмечена и надменность, воспринимаемая как знак гордыни, холодная аналитичность, ставшая второй природой, и явное, даже подчеркиваемое ощущение своего бесконечного превосходства над собеседником.

О ее внешности лучше любых фотографий свидетельствует небрежный набросок Андрея Белого в написанной им незадолго до смерти мемуарной книге «Между двух революций», где он вспоминает их пер-

вую встречу. «Я позвонил: передняя — белая; горничная в черном платье, в беленьком чепчике; вижу из двери: на белой стене рыжеватая женщина в черном атласе, с осиной талией, в белой горжетке, лорнетик к глазам приложив...» Тридцать лет спустя в Париже Зинаида Шаховская, начинающая поэтесса, которую привел на очередное воскресенье участник «Зеленой лампы» Ан. Алферов, вынесла примерно такое же впечатление: «Мне ни хозяева, ни атмосфера не понравились. Маленький, худенький Мережковский — прозрачные глаза, фальцет — с его вечными тезами и антитезами, частенько прерывался Зинаидой Гиппиус. Она была тут главной жрицей. С уже не по-живому рыжими волосами, с уже бывшими зелеными глазами — лорнет — она высокомерно ощупывала, рассматривала, оценивала своих посетителей, даже не без брезгливости. Умна она была — это замечалось сразу — до чрезвычайности и ядовита, за что и была прозвана Ге-пе-ус. Ее меткие определения личностей запоминались надолго. Я не была поклонницей ее поэзии, прекрасно сделанной и умной, но ... без божественной искры, огня, т. е. без сути поэзии».

Тэффи, которая сблизилась с Гиппиус в ее последние годы, уже после смерти Мережковского, вспоминает: «Она была очень худа, почти бестелесна. Огромные, когда-то рыжие волосы были закручены и притянуты сеткой. Щеки накрашены в ярко-розовый цвет промокательной бумаги. Косые, зеленоватые, плохо видящие глаза».

Слышала она еще хуже и, бывало, пользовалась своей глухотой, чтобы сбить, обезоружить чем-то ей неприятного собеседника. Пропускала мимо ушей его аргументы, и никогда нельзя было понять, действительно ли не уловила сказанного или предпочла оставить без внимания. На воскресеньях, которые все так же устраивались в ее квартире, вопреки угрозам хозяина описать мебель за долги, бывало все меньше народа, однако самые верные остались, зная, что только здесь можно поговорить о главном, о настоящем. И за эту возможность Гиппиус многое прощали, даже ее нетерпимость и язвительность, даже

непроницаемость, многими принимаемую за бездушие. Тэффи запомнился разговор с нею, происшедший незадолго до конца, до тех последних страшных дней, когда, уткнувшись лицом в стену, она лежала молча и только все поглаживала свою дикую и злую кошку с длинным голым хвостом. Воспользовавшись случаем — заговорили об одной общей знакомой, очень религиозной и ужасно боявшейся того, что будет за гробом, Тэффи спросила: «А вы? Вы боитесь Страшного суда?» — и услышала негодующее: «Я? Вот еще! Скажите, пожалуйста! Очень нужно!» С невеселой иронией — Тэффи подводит итог: «Подобного презрения к загробной жизни я еще никогда не встречала. Загробная жизнь ею не отрицалась, но чтобы Господь Бог взял на себя смелость судить Зинаиду Гиппиус, она же Антон Крайний, — это даже допустить было нелепо».

* * *

Лучше всех написал о Гиппиус Юрий Терапиано, в ту пору молодой поэт из тех немногих, кому случилось почувствовать себя на Колонель Бонне почти своим. Много лет Терапиано имел возможность близко наблюдать хозяйку этого салона, и всякий раз у него оставалось ощущение, что перед глазами «холодный блеск взлетающей с земли ракеты — ракеты, обреченной неминуемо разбиться о какое-нибудь небесное тело, не будучи в состоянии вернуться назад и рассказать нам, что там происходит».

Там, где других неприятно поражали надменность и недоброжелательство, Терапиано увидел другое: «много горя, боли и одиночества», тщательно ото всех скрытого, но переживаемого остро и глубоко. И пришел к выводу, что вовсе она не была той «изломанной декаденткой», которую обвиняли в эгоцентризме, холодности, стремлении непременно высказываться не в лад, а наперекор. По крайней мере, все это ее не исчерпывало, пожалуй, и не определяло в ней главного. О главном Терапиано пишет, отсылая к давней статье Иннокентия Анненского, где доминан-

той поэзии Гиппиус названо «мучительное качание маятника в сердце».

Может быть, это качание маятника, перебивающее умственную усложненность и напускную эмоциональную сухость, было определяющим не только в стихах Гиппиус, но и в ней самой. Так полагал Сергей Маковский, первым прочитавший дневники, после смерти Гиппиус хранившиеся у Злобина, ее секретаря, участника триумвирата на рю Колонель Бонне (прежде третьим в союзе был критик и публицист Дмитрий Философов, не последовавший за Мережковскими из Варшавы на берега Сены). Злобин оставался рядом с Гиппиус до самой ее смерти 9 сентября 1945 года — а умирала она в изоляции, в атмосфере общей неприязни, почти ненависти, в нищете. Воспоминания его, которые Маковский записал по свежему следу, бесценны, несмотря на их неизбежную пристрастность: «Кто, глядя на эту нарумяненную даму, лениво закуривающую тонкую надушенную папиросу, на эту брезгливую декадентку, мог бы сказать, что она способна живой закопаться в землю, как закапывались в ожидании Второго Пришествия раскольники... Да, такой в своем последнем обнажении была З. Н. Гиппиус — неистовая душа... Мы привыкли к ледяному тону, к жестокому спокойствию ее стихов. Но среди русских поэтов XX века по силе и глубине переживания едва ли найдется ей равный. Напряженная страстность некоторых ее стихотворений поражает... Она действительно как бы умерла, сошла живой в могилу, «закопалась», чтобы вместе с Россией воскреснуть. И может быть, никто этого Воскресения не ждал с таким трепетом, не молился о нем так горячо, как она».

Сам Маковский был с нею знаком издавна, еще до первой русской революции, вынудившей Мережковских надолго оставить Петербург. Сквозь толщу лет ему, под конец жизни принявшемуся за мемуарную книгу «На Парнасе Серебряного века», видится редакция журнала «Мир искусства» и ее частая посетительница: «Очень тонкая и стройная ... Роста среднего, узкобедрая, без намека на грудь, с миниатюрны-

ми ступнями... Маленькая, гордо вздернутая головка, удлинённые серо-зелёные глаза, слегка прищуренные, яркий, чувственно очерченный рот с поднятыми уголками и вся на редкость пропорциональная фигурка делали ее похожей на андрогина с холста Содомы. Вдобавок густые, нежно вьющиеся бронзово-рыжеватые волосы она заплетала в длинную косу — в знак девичьей своей нетронутости (несмотря на десятилетний брак) ... Только ей могло прийти в голову это нескромное щегольство «чистотой» супружеской жизни».

Брак с Мережковским вызывал озлобленные пересуды из-за того, что был — или, по меньшей мере, казался — подчеркнуто небанальным. В действительности союзы, не предполагавшие физической близости, для Серебряного века не такая уж редкость: брачные отношения Блоков, и Волошина с Маргаритой Сабашниковой, и Белого с Асей Тургеневой строились по той же модели. Однако те браки быстро распались. А Гиппиус прожила с Мережковским больше полувека, не разлучаясь ни разу, ни на день. Вопреки всем инсинуациям это был необыкновенно прочный брак, не то что у Блока и Любы Менделеевой, предпринявших столько усилий для того, чтобы оторваться друг от друга. «Наша нерушимая взаимная привязанность, — сказано Гиппиус в ее книге «Дмитрий Мережковский», — была слишком истинной, имела другие основы, чем какая-нибудь ослепляющая страсть или бездумное благоговение перед знаменитым супругом».

Впрочем, эта привязанность вовсе не напоминала отношения брата и сестры, которые установились в других чисто духовных браках, запомнившихся свидетелям Серебряного века: таких, как союз поэта Федора Сологуба и Анастасии Чеботаревской или философа Николая Бердяева и Лидии Рапп. Бердяевы, по воспоминаниям родственницы, старались во всем следовать «первым апостолам», а у Мережковских возобладала идея особого, сакрального брака, который не имел ничего общего с обычным, христианским. В таком браке построение семьи отнюдь не

считалось приоритетом или хотя бы необходимостью. Гиппиус писала, что «любовь двух в смысле пола» — отживающая форма отношений, которая в грядущем заменится чем-то другим, но «равным по силе соединения и плотскости». Это будет «не человеческая уж общность, но человеческое возвышающая до божественного». Мережковский высказывался еще определеннее: «Как два, так и все будут одна плоть, одна кровь... в тайне Церкви», какую он ее себе представлял. Получалось что-то наподобие соединения многих в физической близости — своего рода новое язычество или, еще проще, свальный грех, который облагорожен мистическими откровениями.

Оглядываясь на идущую к концу жизнь, Гиппиус в книге «Дмитрий Мережковский» ни словом не упомянула опыты обретения подобного рода божественной общности, которые ими предпринимались с зимы 1901 года, когда в их доме появился публицист и критик Дмитрий Философов и начались «разговоры втроем», снова и снова касавшиеся жгучей темы. Особую пряность ей придавало то обстоятельство, что Философова, вызвавшего у Гиппиус сильное чувство, женщины не интересовали. Оттого мечтания о тройственном союзе как прообразе Церкви будущего, ритуалы братания, обмен нательными крестами — все приобретало неистребимый оттенок патологии. С Философовым рассорились в первые месяцы эмиграции, он остался в Варшаве и не вспоминал о таинстве рождения Новой Церкви, свершенном ими тремя в первый Великий Четверг начавшегося XX столетия. Но идеям, которые лежали в фундаменте этой Новой Церкви, Мережковские сохранили верность до конца своего земного пути.

Книга о Мережковском, начатая 3 июня 1943-го, через полтора года после его смерти, стала последним, что было написано Гиппиус. Писать книгу Гиппиус было очень трудно, потому что, говоря о нем, приходилось говорить и о себе — две эти жизни слиты поистине нераздельно. Общими были направленные мысли, духовные запросы, литературные приоритеты, политические взгляды, гражданская пози-

ция. Одинаковым — или очень похожим — был тип личности, воплотившийся в обоих.

Такие люди трудны для окружающих. Их отличительное свойство — преданность идеям, которые кажутся фантастическими, искусственными, просто ложными натурам, чуждым отвлеченных интересов и остающимся равнодушными к «тройственному устройству мира», к ожиданию царства Завета и «охристанению земной плоти». Абсолютная неспособность Мережковских к диалогу — оба только вещали, требуя от аудитории благоговейно внимать, — еще больше осложнила им поиски сочувствующих и близких.

Одиночество, постоянно возникавшие конфликтные ситуации мучили Гиппиус, несмотря на всю горделивость, отличавшую ее с юности (начинающая поэтесса в двадцать четыре года пишет в дневнике: «Без правды, прямой, как математическая черта, нельзя подойти к Свободе. Свобода от людей, от всего людского, от своих желаний, *от — судьбы...* Надо полюбить себя, как Бога. Все равно, любить ли Бога или себя»). Она оправдывается: «Не по моей воле течет во мне такая странная, такая живая кровь». Но в конечном счете всегда перевешивает сознание собственного избранничества, которое позволяет не оглядываться на чужие суждения и оценки. Единственное, о чем Гиппиус не забывала, имея дело с теми, кто придерживается более принятых, привычных понятий, это предупредить, что она другая.

«Позвольте мне быть с вами вполне откровенной, — пишет она в 1925 году М. М. Винаверу, редактору газеты «Звено», оговаривая условия своего в ней сотрудничества, — мне казалось иногда, что свойство моих писаний и моего имени, всегда какое-то возбуждающее тех или других, кажется вам не совсем подходящим для мирного литературного органа... Я... по совести не умею отделять «красоту» от «добра и истины» (сходясь в этом с Вл. Соловьевым) и поэтому не могу ручаться даже за а-политичность ни одной моей статьи, вплоть до *беллетристики*».

Имя философа Соловьева тут помянуто, пожалуй, зря, но собственные человеческие качества Гиппиус

охарактеризовала очень проницательно. Политика как таковая по-настоящему стала ее интересовать лишь после февральских событий 17-го года, и тем не менее она (как и Мережковский) вправду никогда не остается аполитичной: жизнь обоих подчинена общественной, духовной сверхзадаче, решение которой, верили они, станет великим благом для человечества. И в этом смысле она подчинена политике, хотя конкретика политической жизни Рассеянья долгое время оставляла более или менее равнодушными обоих.

Гиппиус вспоминает в книге о Мережковском, как они — по наивности — рассчитывали, вырвавшись из совдепии, «добраться до мира, чтобы ему посылно что-то *сказать*», и как горько было ощутить, что почти никто не хочет их выслушать. У Бурцева в «Общем деле» оба напечатали несколько статей, навеянных еще свежими воспоминаниями о красном Петрограде: о голоде, терроре, о массовом одичании, озверении и превращении толпы в того белоглазого идиота, чей зловещий образ преследовал Бунина, когда он описывал русскую деревню. Гиппиус опубликовала кое-что из своих петербургских дневников, из «черной тетради», которую она заполняла в годы революции и Гражданской войны. Там, помимо страшных картин будничности, были крайне резкие оценки интеллигентов, из трусости или по непростительному простодушию согласившихся сотрудничать с новой властью.

В последней своей книге она с горечью пишет, что тогда, «в ту далекую осень 20-го года все эмигрантское общество — старшее поколение — внешне представляло картину большой общности, как бы сплоченности против одного и того же врага», и «мы, естественно, всех эмигрантов считали честными». А заканчивает так: «Если это была наивность — как от нее без опыта избавиться?»

Опыт пришел быстро. Василевский — Не-Буква тиснул в «Последних новостях» статейку, обвиняя Мережковского, а заодно Бунина и Куприна в «сгущении красок», «преувеличении ужасов». Бунин и Ку-

прин ответили на этот выпад резко, с негодованием, а Мережковский лишь еще упорнее принялся отстаивать свою позицию, которая требовала полного бойкота большевиков и продолжения вооруженной борьбы с ними при активной помощи Европы. Никаких смягчающих обстоятельств, никаких компромиссов и полутонов он не признавал. Когда начался голод в Поволжье и европейская общественность забила тревогу, он через газеты обратился к инициатору гуманитарной кампании немецкому драматургу Гауптману с просьбой не вступать в контакты с Москвой: «Не свергнув советской власти, ничем нельзя помочь миллионам гибнущих людей, так же как удавленному петлей ничем нельзя помочь, не вынув шею из петли».

Гиппиус писала то же самое, но подчеркивала моральную обязанность Запада не оставаться в стороне от российской трагедии. Она первой впрямую заговорила о главном уроке революции, с которой «погибла обманная мечта о «богоносце», и со всей прямотой констатировала: «Припадок был неизбежен... За ним — такое страдание, какого не видели, может быть, и народы более грешные. Но страданье новое, ибо не тупое — а режущее. Оно не даст уснуть русскому народу. Не даст умереть во сне».

Эти мысли были неотступными, по-разному отзываясь во всем, что создано после катастрофы и поэтом Зинаидой Гиппиус, и критиком Антоном Крайним: так подписаны ее умные и злые статьи. Никто, даже враги, не мог поставить под сомнение верность Гиппиус своему кредо, объявленному в стихах 1918 года:

Если гаснет свет — я ничего не вижу.
Если человек зверь — я его ненавижу.
Если человек хуже зверя — я его убиваю.
Если кончена моя Россия — я умираю.

Мережковский вспоминал их бегство из Петрограда в самом конце 1919 года: «Дня за три до отъезда сделался мороз в 27 градусов, а мы не знали, топят ли вагоны. И невозможно было откладывать. Мглисто-розовым декабрьским вечером, по вымершим ули-

цам со снежными сугробами, на двух извозчичьих санях, нанятых за 2000 рублей, мы поехали на Царско-сельский вокзал». Многие годы Гиппиус преследовали тяжелые воспоминания об этой минуте. Среди ее стихотворений эмигрантского периода есть восемь строк, которыми сказано все: эта боль, это настроение ее не оставляли все годы на чужбине. Стихи называются «Отъезд», они напечатаны в 1935-м:

До самой смерти... Кто бы мог думать?

(Санки у подъезда. Вечер. Снег.)

Никто не знал. Но как было думать,

Что это — совсем? Навсегда? Навек?

Молчи! Не надо твоей надежды!

(Улица. Вечер. Ветер. Дома.)

Но как было знать, что нет надежды?

(Вечер. Метелица. Ветер. Тьма.)

Может быть, ее поэтическое творчество в годы изгнания и пошло на убыль так резко оттого, что лишь в единичных случаях Гиппиус удавалось найти слова и образы, способные остро, пронзительно, достоверно выразить владевшее ею чувство потери, которая невозполнима. Лирическая тема, ставшая для поэзии Рассеянья главной, плохо уживалась с характером мышления той, чьи стихи Бунин называл «электрическими», а высоко их ценивший Адамович добавлял: «Выжатые, выкрученные строчки как будто потрескивают и светятся синеватыми искрами». Гиппиус всегда ценила в поэзии прежде всего интеллект, ее книги стихов касаются тех же философских и религиозных тем, которыми заполнены эссе за подписью Антон Крайний, а в еще большей степени — дневники, не предназначавшиеся для печати. Лирическое начало в этих безупречных строфах приглушено, едва ли не вытеснено совсем. Похоже, Гиппиус как раз и хотела подавить его полностью, однако не справилась с собственным дарованием, которое взбунтовалось против такого насилия. Ходасевич с пронизательностью, почти ни разу ему не изменившей, подметил у нее «совершенно своеобразное внутреннее борение поэтической души с непоэтическим умом», назвав определяющими свойствами поэзии Гиппиус

причудливость и прелестную хрупкость. Она поминутно грозит «распасться, рассыпаться, безнадежно сорваться» — и впрямь срывается, но ее обаяние не пропадает.

Этот отзыв относится к единственной книге стихов, которую Гиппиус выпустила в эмиграции, — к «Сияниям». Книжка вышла небольшая, всего сорок стихотворений, издали ее крохотным тиражом: 200 экземпляров. Время было уж слишком неподходящее для таких стихов — 1938 год, пора канунов и крушений. Писать на злобу дня Гиппиус не умела и не стремилась. Осталась верна своим мотивам, мучась «неотступным» («От двери Отчей не уйду я. Неугасим огонь души») и напряженно думая о «неизвестном», которое все ближе («Но пусть оно будет родное» — как на земле). Стихи для книжки подбирались по разным эмигрантским журналам за пятнадцать лет. Однако по этому сборнику невозможно ощутить бег времени.

Неощутимы и какие-нибудь перемены стилистики, образности: Гиппиус была все так же узнаваема буквально по любой строке. Ходасевич, к этому времени далеко отошедший от Гиппиус и от всего ее круга, судил жестко, суховато. Манерные стихи, где стилем оказывается отсутствие стиля, из-за чего появляется некая «пряная прелесть: прелесть безвкусицы».

Однако объективность ему не изменила: не приняв книгу, Ходасевич все-таки закончил свой разбор замечанием, что Гиппиус, «скупая на изъявления чувства, быть может — даже вообще бесчувственная, зато и никогда не позволит себе нажать педаль или слишком красиво и томно высказаться о себе». Это и вправду мужские стихи, не только из-за того, что о себе автор никогда не говорит «любила», «верила», «знала» — повсюду мужской род, — но главным образом по самой их интонации: сдержанной, твердой, не допускающей бурных эмоциональных всплесков. Ни намек на лирическую исповедь, но какие жесткие счеты с миром, где

лишь злость.

Личины. Маски.

Ложь и грязь. Ложь и кровь, —

какая страстная тоска по вынужденно покинутой родине:

Не отступлю, не отступлю,
Стучу, зову Тебя без страха:
Отдай мне ту, кого люблю,
Восстанови ее из праха!
Верни ее под отчий кров,
Пускай виновна — отпусти ей!
Твой очистительный покров
Прости над грешною Россией!

Только очень немногие сумели почувствовать и понять этот тайный жар сердца, уловив, что на самом деле происходит в душе, которую в одном своем старом стихотворении Гиппиус уподобила убитому ястребу — такой же тяжелый холод, та же мертвенность вместо «полета и бытия». Обманывала всегдашняя ее надменность, отталкивала ее сосредоточенность то на мистике, то, напротив, на слишком чувственном, на «зверином законе», который навязан нам природой. Маковский, как будто достаточно близко ее знавший и первым прочитавший ее дневники, в мемуарах, где Гиппиус посвящено два десятка страниц, занят почти исключительно теми странностями, которые отличали ее отношение «к брачному, плотскому увенчанию любви», внушавшему ей болезненную брезгливость, и развивает целую теорию о ее непрестанно о себе напоминающей приверженности к «сладострастной грязи». Бунин, отдавая должное уму и таланту Гиппиус, никогда не мог подавить в себе раздражение, вызываемое вечными разговорами про постыдность любви в ее обыденной, «смешной» форме, про двуполость, которая и есть истинная, сокровенная человеческая природа, про эрос, ставший духовной эманацией. Ходасевич перестал бывать у Мережковских, окончательно удостоверившись, что для них литература — только служанка философии, с чем он не согласился бы никогда. Молодые, которых приводили на рю Колонель Бонне, терялись при виде этой увядающей женщины с неизменной сигаретой в длинном мундштуке и весь вечер лишь почти-тельно внимали, однако в своем кругу судили об уви-

денном в знаменитом салоне иронично, а то и насмешливо, даже злобно.

Кажется, только Адамович смог, отбросив скептический тон, оценить Гиппиус — как поэта, как личность — целостно и точно. Когда вышли «Сияния», он написал, что «место стихам Гиппиус в русской литературе обеспечено по той причине, что других таких стихов не было и, вероятно, не будет». Когда-то Блок назвал не имеющими аналога некоторые качества стихов Гиппиус: повсюду в них чувствующийся логический ум и всевластный дух сомнения, соединяющийся с неутолимой жаждой духовных озарений и взлетов. Адамович тоже считал, что это поэзия «ручной выделки» — уникальная по своим определяющим чертам. Вот они: отталкивание от мечты вместо традиционного влечения к ней, насмешливость поэта по отношению к самому себе, постоянный терпкий привкус печальной иронии. «Стихи как будто оттого и извиваются в судорогах, что похожи на личинки бабочек, которым полет обещан, — но сами они прикреплены к земле».

А через много лет после смерти Гиппиус, когда для самого Адамовича подошла пора итогов, он напечатал мемуарный очерк о Гиппиус, предприняв попытку законченного портрета. Как раз ему и следовало взять на себя этот труд, ведь полтора десятка лет, вплоть до войны, Адамович не только непременно участвовал в «Зеленой лампе» и являлся на каждое воскресное чаепитие, но и приходил к Мережковским в будни, по вечерам, и «ни на минуту не бывало скучно» — особенно если они с Зинаидой Николаевной оставались вдвоем, а Дмитрий Сергеевич допоздна сидел над рукописью у себя в кабинете. С ним Адамович ощущал себя как-то стесненно, «не чувствовал его как человека». С Гиппиус было намного проще, и главным образом из-за того, что Адамович угадал в ней самое главное: «Между нею самой и тем, что она говорила и писала, между нею самой и ее нарочитым литературным обликом было резкое внутреннее несоответствие. Она хотела казаться тем, чем в действительности не была».

Адамович твердо считал, что тут преобладала игра, которой в годы поэтической молодости Гиппиус определялся стиль жизни и мышления окружавшей ее среды, где то и дело затевались игры «в религию — или с религией», и наблюдался явный переизбыток «всякого рода торопливых, обманчиво-смелых, мнимо-творческих претензий». Гиппиус так и осталась личностью той эпохи, свыклась с этой игрой, и «на ней построила свою репутацию человека, который видит и догадывается о том, что для обыкновенных смертных недоступно». Однако напрасно ее считали злой, черствой. Как раз этого в ней не было, и ее сильный ум намного яснее проявлял себя «в смутных догадках, чем в отчетливых, отвлеченных построениях, в тех рассудочных теоремах, по образцу которых написаны многие ее статьи». Сухая печаль — без слезливости, без жалостливости — вот что составляло ее существо, если отбросить притворство и позу, высокомерие и сухость, сделавшиеся второй натурой.

Есть стихи, которые говорят о написавшей их гораздо правдивее, чем все заносчивые выпады и мистические прозрения, запомнившиеся другим мемуаристам. Эти стихи приведены у Адамовича:

Преодолеть без утешенья,
Все пережить и все принять,
И в сердце даже на забвенья
Надежды тайной не питать,
Но быть, как этот купол синий,
Как он, высокий и простой,
Склоняться любящей пустыней
Над нераскаянной землей.

Вот эта тоска и эта «жажда творческой правды, лично от нее ускользнувшей», писал Адамович, останутся, когда только для педантичных историков русской словесности сохранят интерес доктрины обновленного христианства, Третьего Завета, жизненного воплощения Троицы — все то, чем Гиппиус была поглощена столько лет. Останется все «душевно-встревоженное, остро-проницательное, непогрешимо-чуткое» — этим она была одарена, как мало кто

другой в ее поэтическом поколении. И останутся несколько строк, которые слабеющей рукой за несколько недель до смерти Гиппиус написала на обложке одной антологии зарубежной русской поэзии:

По лестнице... Ступени все воздушней
Бегут наверх иль вниз — не всё ль равно!
И с каждым шагом сердце равнодушной:
И всё, что было, — было так давно...

* * *

По замыслу Мережковских «Зеленая лампа» должна была стать чем-то наподобие инкубатора идей, или своего рода тайным обществом единомышленников, у которых одни и те же духовные интересы, одна и та же тревога и боль. Здесь предстояло сообща искать ответы на самые жгучие вопросы времени и, найдя, нести свет обретенной истины эмигрантским массам. Дмитрий Сергеевич в своих замыслах шел дальше: истина будет востребована не только эмиграцией, не только Россией, она будет нужна всему человечеству.

Об этом он с пафосом говорил, выступая в прениях на первом заседании 5 февраля 1927 года. Его речь была посвящена антиномии свободы и России, «духа» и «плоти». Оказалось, что эмигрантская свобода — это «пустота, призрачность, бескровность, бесплотность», а российская «плоть» — синоним рабства. Приходится выбирать, то есть чем-то с неизбежностью жертвовать. И жить лишь надеждой, что когда-нибудь «Свобода и Россия будут одно».

Тон Мережковского был то гневным, то скорбным. Не прошло и десяти лет после русской трагедии, а надежда осталась лишь у очень немногих, «зараза усталости, обывательщины очень сильна. Воздух наш напоен тончайшим ядом». Эмиграция в особенности подвержена действию яда, но не только эмиграция: весь мир — вскоре это станет навязчивой идеей Мережковского — словно бы возмечтал об отказе от свободы, поклоняясь рабству как счастью. И может быть, «Зеленой лампе» как раз следовало бы «сделать»

ся лабораторией, чтобы искать противоядий, оперируя с элементами химически чистыми». Такими, как русская литература, «наше Священное Писание, наша Библия... Логос народного духа».

Аудитория должна была испытать благоговейный трепет. Но все оказалось по-иному и в раннюю пору существования «Зеленой лампы». Сразу пошли споры, они накалялись с каждым заседанием. Конфликтовали два поколения: те, чьи взгляды сложились задолго до эмиграции, и увезенные из нее детьми, выросшие в изгнании. Сталкивались поборники Третьего Завета и приверженцы ортодоксального православия, которые считали идеи Мережковского ересью, а его демонстративное поклонение католической святой (в квартире на Колонель Бонне стояла статуэтка маленькой Терезы из Лизье, украшенная цветами) находили прямым кощунством. Настроенные религиозно не обрели общего языка с завсегдатаями кафе на Монпарнасе, где, в отличие от Ивана и Алеши Карамазовых, русские мальчишки эмигрантской волны толковали не о «вековечных вопросах» — Боге, бессмертии, — а о литературной революции, произведенной Джойсом, и об опытах автоматического письма, предпринятых сюрреалистами.

Старались избегать проблем, прямо затрагивающих политику, объявляли либо литературные темы, либо философские. Но, по свидетельству Терапиано, который участвовал в «Зеленой лампе» с самого начала, там «жизнь завелась сама собой». И корректировала подчеркнута нейтральные формулировки, стоявшие в программке: «Беседа о любви», «Есть ли цель у поэзии?».

Терапиано описывает эти собрания с их строгим порядком, напоминающим раз навсегда установленный ритуал. На эстраде большой стол, покрытый зеленым сукном. Заседания ведет поэт Георгий Иванов, формально он председатель общества, хотя вдохновителями и руководителями все признают Мережковских. Оба они, и Дмитрий Сергеевич, и Зинаида Николаевна, тоже устраиваются за столом, а рядом с

Ивановым располагается докладчик: чаще других в этой роли выступает Адамович. Реплики с мест возбраняются, хотя Гиппиус игнорирует запреты. После доклада оппонентов просят записываться и начинаются прения, они иной раз могут затянуться до ночи. Присутствующие — их бывало до двухсот-трехсот человек — вносят скромную плату, чтобы покрыть расходы по аренде зала.

Самая ожесточенная полемика, разумеется, возникает каждый раз, когда обсуждают назначение, возможности, будущее русской литературы в изгнании. Ст. Иванович, он же Семен Португейс, — тот сотрудник «Последних новостей», которого терпели только из-за либеральных взглядов Милюкова, ставшего меньше обращать внимание на его просоветскую ориентацию, — плеснул масла в огонь, когда на втором заседании обсуждали доклад Гиппиус, где отстаивалась ее заветная мысль о необходимости научиться свободе мысли и слова. Твердокаменная верность давно обтрепавшимся знаменам воспринималась Гиппиус как свидетельство косности и провинциальности, с которой эмиграция обязана покончить, противопоставив принципу «общности», которая в родстве со стадностью, идею личности — «различия, отличия одной пары глаз от другой». И как раз эти призывы вызвали насмешливые комментарии Иванoviча. Он предложил, оставив «торжественные слова», поговорить «словами человеческими» и взглянуть правде в глаза, признав, что парижская литературная жизнь — это главным образом распри маленьких групп и кружков, особенно мелочные из-за того, что «эмигрантская нищета и юдоль искажает много в людях и их отношениях». Настоящая литература в таких условиях попросту невозможна, мысль задыхается, «отрыв от родной почвы, которая нас питала, делается трагичным». Если что-то еще и сохранилось, то исключительно благодаря старикам — у них огромный духовный заряд. Однако даже его надолго не хватит. Существование русской культуры на чужбине — «это все-таки вопрос времени», а оно беспощадно.

Эффект этой реплики был оглушительным. Бунин резко заявил, что не желает слышать разговоры о том, как задыхаются и погибают писатели, чья судьба вынудила из Белевского уезда перебраться во Францию. Берберова, признавая, что изгнание — это трагедия, отказывалась всерьез обсуждать предположение, будто русская литература мертва, ибо живет в Европе: разве она не пожертвовала своим пребыванием в России «ради того глубоко русского дела, которого там сейчас делать нельзя»? Но особенно непримиримым оказался Довид Кнут. От имени молодых, которым Иванович предрекал скорое творческое угасание, он объяснял оппоненту, что можно обойтись без «запаса березок и кукушек», если из России предусмотрительно вывезено самое главное — душа, и что близко время, когда каждый увидит: «столица русской литературы не Москва, а Париж».

Вопреки собственным декларациям и симпатиям Иванович закончил свои дни не на московских просторах, а в Нью-Йорке, куда бежал в канун немецкого наступления, увенчанного парадом победителей на Елисейских Полях. А Кнут ушел в Соппротивление и в годы оккупации занимался крайне опасным делом: переводил «неарийцев» через швейцарскую границу, спасая от лагерей смерти. Его жену Ариадну Скрябину, дочь композитора, принявшую иудаизм, расстреляли в 1944-м. После войны Кнут уехал в Израиль, где уже не писал. Он умер в Тель-Авиве.

Родом он был из Кишинева, из края «скудной мамалыги, овечьих брынз и острых качкавалов», о котором вспоминал и с нежностью, и с болью. Кнут писал «про тяжкий груз любви и тоски, блаженный груз моих тысячелетий». Свою первую книгу, изданную в 1925-м, он так и назвал — «Моих тысячелетий», — повергнув рецензентов в недоумение: на каком языке это сказано?

У него был румынский паспорт, но неодолимо искушала мысль о бегстве — на Запад, в Париж. А в Париже родилось стихотворение «Кишиневские похороны», дающее ощутить, как прочно он связан с родною средой, которую сам же называл убогой и нищей. Это стихи

О нас о всех, о суете, о прахе.
О старости, о горести, о страхе,
О жалости, тщете, недоуменьи,
О глазках умирающих детей...

Во Франции Кнут оказался двадцатилетним, вместе с родней держал кафе в Латинском квартале, потом увлекся росписью тканей, однако делом жизни все-таки считал поэзию. Он был последователем Ходасевича, признавал его своим учителем, вместе с Терапиано входил в литературную группу «Перекресток», где Ходасевич считался высшим авторитетом. Классическая ясность и строгость, осознанно выбранная позиция наследников русской поэтической традиции, ведущей к Пушкину и к Тютчеву, — все это было близко и Кнуту, как каждому, кто разделял верования и творческие установки, защищаемые Ходасевичем, еще начиная с его прогремевшей речи на пушкинских торжествах зимой 1921 года в Петрограде — «Колблемый треножник». Кнут был из тех немногих, кто услышал и трагического Ходасевича, озаглавившего свою единственную эмигрантскую книгу стихов «Европейская ночь». Ее музыка ясно слышна в книге Кнута «Парижские ночи», которая вышла через пять лет, в 1932-м:

Меж каменных домов, меж каменных дорог,
Средь очерствелых лиц и глаз опустошенных,
Среди нещедрых рук и торопливых ног,
Среди людей, душевно-прокаженных...
В лесу столбов и труб, киосков городских,
Меж лавкой и кафе, танцальной и аптекой,
Восходят сотни солнц, но холодно от них,
Проходят люди, но не видно человека.

В «Зеленой лампе» Кнут, конечно, должен был вступить за осмеянную молодую литературу эмиграции, потому что сам к ней принадлежал. С нею связывал немалые ожидания и его наставник. Впрочем, атмосфера этих собраний вскоре стала ему, как и Ходасевичу, казаться нетворческой или, во всяком случае, чужеродной поэзии. Оба ушли из этого общества, едва определилось основное направление его деятельности. И полемика сразу стала какой-то отвлеченной, даже вялой. Отныне никто не решался всерьез противостоят лидерам. Особенно — Мережковскому.

У людей, знавших его поверхностно, и даже у многих из тех, кто тесно с ним общался годы и годы, Мережковский чаще всего вызывал антипатию, порой — откровенную неприязнь, которая чувствуется, несмотря на почтительную оценку дарований и заслуг мыслителя, никогда не страдавшего низкой самооценкой. Прочитав в 1911 году «Александра I», лучший из его исторических романов, Блок записывает в дневнике: «Брезгливый, рассудочный, недобрый» автор, «а тревожит... красота местами неслыханная». Философские построения и пророчества этого автора не убеждают Блока, и не оттого, что он их находит некорректными, а по причине постоянно чувствующейся рассудочности: сплошное умствование, ни грама живого чувства. Это Блок подмечал у Мережковского и раньше («говорит: «Гряди Господи», как будто: «Зина, нет ли молока?»). И вообще «нельзя так вопить о том, о чем непременно понижается голос».

В эмиграции заметно усилились и приверженность к сухому теоретизированию, и сознание своей исключительности, а отзывы о Мережковском — за немногими исключениями — стали еще более ироничными, часто и насмешливыми. Бунина поражает абсолютная уверенность Дмитрия Сергеевича относительно того, что его ждет за гробом, — там его душа будет вместе с Лермонтовым, — и в дневниках появляется запись: «У него плохой характер». Это 1921 год, впоследствии бунинские отзывы станут намного более жесткими, да и от высокоумных бесед за чайным столом по воскресеньям он начнет уклоняться, не скрывая, что ему глубоко неприятен весь этот тон и стиль.

Вера Бунина переписет в их совместный с Иваном Алексеевичем дневник письмо от старого литературного знакомого Амфитеатрова, который прочел только что изданную в Белграде книгу Мережковского «Иисус Неизвестный», в глазах автора главный труд его жизни: «Тщетно искал в нем хотя бы одной новой мысли, а тем более «нового слова». Слошной монтаж (в старину плагиатом звали) вперемежку с

кимвалом, пусто гремящим». Никаких возражений или уточнений со стороны Бунина не последует, он, скорее всего, даже и не открыл или не осилил этот монументальный том. К 1932 году, когда книга появилась из печати, их отношения с Мережковским испорчены непоправимо. Мережковский ждет Нобелевской премии, не допуская мысли, что у него может оказаться достойный русский соперник. Когда выбор падет на Бунина, Мережковский этого не простит: ни шведским академиком, ни лауреату.

Молодые, которых в квартире на Колонель Бонне подвергают пристрастному суду (один из них сравнил этот салон с крепостным театром, где нечего ожидать «целомудрия, чести, благородства»), обычно относятся к воскресным чаепитиям как к нудной обязанности, выполняемой исключительно из-за риска непослушанием погубить свою литературную репутацию. И, отдав необходимую дань, направляются в кафе по соседству, чтобы отвести душу в злословии. А ведь для Мережковских такие смотры чрезвычайно важны. Испытывается на верность их убеждение, что в совдепии молодое поколение в массе своей погублено из-за отсутствия свободы и, хотя «надеждой не руководит география», все-таки будущая вольная Россия создается не теми, «из кого уже вынута душа или исковеркана», а непогубленным эмигрантским поколением нынешних двадцатилетних. Гиппиус страстно это доказывала в своей напущенной статье 1926 года «Мальчики и девочки», противопоставляя зарубежную «раннюю молодежь, полудетей, людей послезавтрашних» тем бесплеменным детенышам, «что ныне завелись под СССРским владычеством», равно как «старым и лысым», во всем изверившимся парижанам, которые некогда с гордостью относили себя к российской «передовой интеллигенции». На воскресеньях нередко возникает и эта тема. «Полудети» вежливо слушают, не вступают в полемику, но мыслят по-своему, не так, как желалось бы наставникам.

Сравнение с крепостным театром принадлежит самому из них недоброжелательному — Василию

Яновскому, полвека спустя в Нью-Йорке издавшему свою «книгу памяти», которую он назвал «Поля Елисейские». К 1983 году Яновский был одним из очень немногих свидетелей литературной жизни русского Парижа между войнами: почти все ее участники уже давно обрелись в Элисии, как греки именовали царство блаженных, куда по смерти попадают праведники. Из тех, кто регулярно посещал заседания «Зеленой лампы» и воскресные собрания у Мережковских, в живых, кроме него, оставались только Берберова да Ирина Одоевцева, поэтесса, мемуаристка, ученица Гумилева и жена Георгия Иванова. Она, перешагнув за девяносто, вернулась на родину и умерла в городе своей юности Петербурге, тогда еще Ленинграде.

Яновскому, когда он принялся за свои воспоминания, было семьдесят с лишним лет, многое стало забываться или видаться неотчетливо. Однако фактические ошибки, которых предостаточно в его книге, объясняются не этим, а скорее тенденциозностью, все время чувствуемым стремлением на старости лет выместить давние обиды, свести счеты, пусть с опозданием. Мемуары вышли резкие, злые — особенно там, где говорится о Мережковском. Эту злость несложно объяснить: влияние Мережковского, которое Яновский испытал в 30-е годы, было слишком очевидным, а непризнание со стороны Мережковских слишком задевало. До конца жизни Яновский ощущал эту несправедливость и, коснувшись больной для него темы, не смог скрыть своих чувств.

Мережковский в его изображении — почти ничтожество, которое нагло присвоило себе «роль жреца или пророка». Ему доставляет изощренное наслаждение, почуяв живую, острую тему, наброситься на нее, «как акула, привлекаемая запахом или конвульсиями раненой жертвы». Минуты не проходит, как эта тема или мысль уже выглядит изобретением самого Мережковского, а тот, кому она принадлежала, исправлен, скомпрометирован или уничтожен.

Точно спохватившись, мемуарист (правда, по другому поводу) уточняет: «Я не иконы пишу, а рапорт,

отчет для будущих поколений». Но местами этому отчету трудно поверить. Уж слишком он недобрый. В «отчете» Гиппиус предстает «сухой, сгорбленной, вылинявшей, полуслепой, полуглухой ведьмой из немецкой сказки на стеклянных негнущихся ножках». Невозможно представить, что когда-то она казалась женщиной необыкновенной красоты, ангельской ли, дьявольской, но, во всяком случае, неземной. Она теперь типичная «душечка» при супруге, которого считают гением раболепствующие. Как-то один из них, прощаясь, поцеловал ему руку, и Мережковский этому вовсе не удивился.

Но как он, если присмотреться, жалок, до чего неискренен и фальшив! Однажды Яновский случайно его встретил в будний день в пустой русской церкви на рю Дарю. Властитель дум лежал, простершись на полу: истовая вера, олицетворенное смирение, покаяние, мольба. И был, в своей роскошной шубе с бобровым воротником, похож «на высухшее насекомое или на парализованного зверька».

Его религиозно-философское сочинительство Яновский находит в высшей степени несамостоятельным. Самое лучшее, что можно сказать о Мережковском, — это признание за ним особого дара популяризатора, а еще точнее, необыкновенного актера: на лету схватывает чужую мысль и размазывает ее, «ударяя маленьким кулачком по воздуху... смачно картавя, играя голосом, убежденный и убедительный, как первый любовник на сцене». И этот плагиатор мнит себя величайшим интеллектуалом современности. Недаром он и внешне «похож на упыря, питающегося по ночам кровью младенцев».

Все это особенно любопытно читать тем, кто заглядывал в книги самого Яновского, написанные до переезда в США, куда он бежал через Касабланку после того, как Франция капитулировала. Они буквально пропитаны идеями, которые Мережковский считал своим заветным достоянием. Яновского увезли из России, когда ему было шестнадцать лет. Вместе с семьей он нелегально перешел польскую границу, через четыре года добрался до Парижа, узнал вкус

«штампованной эмигрантской жизни, нищей и великолепной», описанной в его разруганном критикой романе «Мир». Бедствовал, добывал свой хлеб, как и Кнут, раскрашивая ткани в мастерской, учился на медицинском факультете Сорбонны. Мечтал о литературе — для того, чтобы выразить свое понимание метафизических тем, о которых столько было сказано на регулярно им посещаемых заседаниях «Зеленой лампы» и на воскресеньях у Мережковских.

Ходасевича, написавшего о его романе, неприятно удивило, что герои книги только и делают, что «философствуют — и их философствования с первой же до последней минуты поражают своим убожеством». Яновский не посчитался с этой критикой и вслед «Миру» выпустил повесть «Любовь вторая», где говорилось о неизбежности религиозного преобразования человечества. Перед самой войной он опубликовал «Портативное бессмертие»: этот роман описывает деятельность ордена «Верных», который взвалил на себя заботы о том, чтобы на земле воцарилось Царство Божие.

Мережковский не покладая рук пропагандировал то же самое. На его языке это называлось постижением Иисуса Неизвестного, или же устремлением к христианству будущего, которое потребует отрицания традиционных жизненных форм и установлений, поскольку все они созданы историей, а история себя исчерпала. История — это плоскость и плоть, тогда как полноценное человеческое бытие требует вертикали и духа. И нужно найти себя не в истории, но в Евангелии, словно бы постоянно сводя небо на землю и как живую истину воспринимая откровения Иисуса, «увидев Его у себя в доме сегодня». Вот тогда завершится история в ее дурной бесконечности, исчезнет «мировая пошлость» и приблизится пришествие Духа. Евангелие — самая неизвестная из книг, потому что нельзя эту книгу прочитать, не делая того, что в ней сказано. Но именно так ее и пробуют усвоить вот уже двадцать веков.

Церковь отнеслась к этой философии сдержанно: не как к ереси, но как к причуде крупного писателя,

который искренне озабочен будущим христианской идеи, только ищет его не на тех путях, где следовало бы. Над гробом Мережковского Евлогий, глава Русской зарубежной церкви, говорил о том, что он был великий человек, но упомянул и о разногласиях, о нарушениях доктрины. Потом оценки стали намного более жесткими. Мережковскому не прощали нападок на современное христианство, которое он называл «оскопленной религией», поскольку для нее ничего не значит пол. Приверженцы ортодоксального православия не вняли его призывам к «религиозной революции — предельной и окончательной, ниспровергающей всякую человеческую власть». В этих рассуждениях слишком ясно чувствовался привкус анархизма, распознавалась апология вселенского пожара во имя грядущего рая. Вдруг оказывалось, что Мережковский, страстный ненавистник большевиков, в чем-то главном с ними сходится: тоже требует покончить с государством, церковью, семьей, со всеми социальными установлениями, на которых основан нынешний порядок вещей. Разумеется, он этого требует не для установления «диктатуры пролетариата», а во имя «абсолютной свободы» и «мистического безвластия», но так ли существенны подобные различия, если совпадают конечные цели, а стало быть, и методы?

Путь к Иисусу Неизвестному, в сущности, означал отказ от идеи личного спасения, фундаментальной для христианства. Она у Мережковского подменена проповедью оргиастической любви, когда искушающая прелесть оказывается синонимом благости, а нормы этики, которыми сдерживаются устремления к распущенности и вседозволенности, объявлены изжившими себя. Они принадлежат «исторической церкви», но ее время на исходе, и близится торжество «нового религиозного сознания».

Даже находившие, что эта мысль очень глубока, все-таки делали уточняющие оговорки, подчас противореча самим себе. Терапиано, принадлежавший к узкому кругу тех, кого на Колонель Бонне считали своими, много лет спустя писал: «Для среднего эмиг-

рантского уровня Мережковский был слишком труден и слишком тревожен», — непонимание оказывалось неизбежным. Но и Терапиано все-таки пришлось признать, что «Иисус Неизвестный» — неудача, поскольку Мережковскому изменила интуиция. А когда это случалось, он «порой бывал даже как-то беспомощно бескрыл, порою — слеп, порою — жесток, порою — напоминал начетчика».

Философ Иван Ильин, стойкий противник Мережковского, высказывался намного резче, причем его суждения относились к самому известному произведению мэтра, созданному задолго до эмиграции, — к трилогии «Христос и Антихрист». Ильин обратил внимание на многочисленные сцены, в которых демонстрируется, что «извращенное нормально, нормальное извращенно», и славится язычество с его дикими ритуалами («девушку вкладывают в деревянное подобие коровы и отдают в таком виде быку»), и Христос оказывается уподоблен Дионису, у римлян известному под именем Вакха. Религию Мережковского Ильин определил как оправдание и прославление вакханалий, отказывая ей в какой бы то ни было родственности христианскому учению. У Терапиано формулировки, конечно, намного более сдержанные, однако и он отметил: вся суть в том, что «по духовному своему составу и по качествам своего интеллекта ... Мережковский был ближе к эллинским мистериям и к языческой мудрости, чем к Евангелию». В этом и состояла его трагедия: личная, творческая.

Сам Мережковский никакой трагедии в этом не видел. Его всегда отличала непоколебимая уверенность в своей безусловной и непогрешимой правоте. Возражавшие тут же получали прямую отповедь с упреками в скудоумии и душевной черствости. Более самонадеянного писателя, похоже, не было за всю историю русской литературы. Поэтому и выпады противников становились жесткими. Многие посетители воскресений, оставившие свидетельства о них, не считали нужным как-то смягчить испытываемую ими неприязнь. «Он в заколдованном кругу тез

и антитез, все у него разобрано, на все существуют непогрешимые ответы», — записывает в дневнике после очередного чаепития юный поэт Анатолий Штейгер и набрасывает портрет Мережковского, выдающий раздражение и пристрастность рисовальщика: «Маленький, тщедушный, сгорбленный, глаза у него отсутствующие, речь резкая, нетерпимая».

Ильин, разбирая романы Мережковского, приходит к выводу, что «он художник внешних декораций и нисколько не художник души», причем этот вывод хорошо аргументирован. Для Ильина, тонкого ценителя Бунина и Шмелева, не только написанные в эмиграции трактаты, которые Мережковский отчего-то считал художественными произведениями, но и «Воскресшие боги», книга о Леонардо да Винчи, кружившая головы восторженным курсисткам предреволюционных лет, — вовсе не литература, а всего лишь «больная и соблазнительная половая мистика». Нет ни характеров, ни постижения чужой души, ни проникновения в изображаемую эпоху. Одни только на живую нитку сшитые исторические лоскутья.

Бесспорно, это не самый справедливый суд. Воздействие писателя Мережковского на умы и сердца оставалось сильным почти до конца его жизни. Такого не случилось бы, если бы он и правда, как сказано у Ильина, всего лишь «злоупотреблял историей для своего искусства и злоупотреблял искусством для своих исторических схем и конструкций». Личность Мережковского представляла крупной, значительной: Берберова, частая гостя и «Зеленой лампы», и воскресных собраний, пишет, что «это было ясно с первого произнесенного им слова».

Однако он сам провоцировал инстинктивное внутреннее сопротивление, так отчетливо чувствующееся у его собеседников и слушателей, с тяжелым сердцем вспоминающих знаменитый салон. А в последние годы его жизни салон стал стремительно пустеть, и суть дела заключалась уже не в том, что отталкивал установившийся там порядок отношений. Появились более существенные причины.

Берберова в написанной много лет спустя книге «Курсив мой» утверждает, что мир Мережковского «был основан на политической непримиримости к октябрьской революции, все остальное было несущественно... Все было подчинено одному: чувству утери России, угрозы России миру, горечи изгнания, горечи сознания, что его никто не слышит в его жалобах, проклятиях и предостережениях». У Берберовой приведен разговор, который ясно свидетельствует, какие острые формы принимало это чувство:

«Зина, что тебе дороже: Россия без свободы или свобода без России?»

Она думала минуту.

— Свобода без России, — отвечала она, — и потому я здесь, а не там.

— Я тоже здесь, а не там, потому что Россия без свободы для меня невозможна. Но... — он задумывался, ни на кого не глядя. — На что мне, собственно, нужна свобода, если нет России? Что мне без России делать с этой свободой?»

Подобный обмен репликами, должно быть, мог состояться только между Мережковскими, хотя точно так же были настроены очень многие. Но лишь у немногих непримиримость к перевороту и боль о потерянной России приняли в итоге ту форму, в какую вылилась горечь и тоска обосновавшихся на рю Колонель Бонне.

В мае 1932 года Мережковские поехали в Италию, куда Дмитрия Сергеевича пригласили с лекциями о Леонардо да Винчи.

Уже десять лет там находилась у власти партия Муссолини, который интересовал и притягивал их все больше. Не он ли тот политический лидер, которому предначертано сокрушить режим большевиков и каленым железом выжечь коммунистическую заразу, что распространяется по всей Европе? После поездки для Гиппиус не осталось на этот счет сомнений. Она поместила две восторженные статьи в «Последних новостях» и в письме жалела, что из-за Милокова с его твердыми либеральными взглядами не

смогла прямо выразить в этих статьях самую важную мысль: «Он ведь о фашизме слышать не может. Да и никто бы не напечатал, вздумай я сказать: сию минуту всякий фашизм, всякого Дуче благословлю — для России!»

Письмо было адресовано писателю Амфитеатрову. Он обосновался в Италии давно, вскоре после своего героического побега из красного Петрограда, в тот самый год, когда Дуче стал диктатором. Амфитеатров был его убежденным сторонником и думал (напрасно), что точно так же относится к фашизму «громадное большинство русских зарубежныхников». Эти мысли Амфитеатров высказывал открыто, в печати: «Эмиграция чутьем берет в фашизме силу созидающей борьбы, сокрушительной для борьбы разрушающей, которая нас в России одолела и выбросила за рубеж, а Россию перепоганила в СССР».

Один из сыновей Амфитеатрова, сделавший при фашизме блестящую карьеру, помог Мережковскому, который добивался аудиенции у вождя. После встречи с Дуче в декабре 1934-го была получена субсидия для давно задуманной биографии Данте, и два года Мережковские провели в Италии. По-итальянски работа должна была появиться с посвящением «Бенито Муссолини. Исполнителю пророчества эта книга о Данте». Шел 1938 год, исполнитель пророчества захватил Абиссинию, послал свои самолеты и танки добивать гибнущую Испанскую республику. Наблюдая, в какую сторону поворачивает Мережковский, эмиграция испытывала шок. Ему это было безразлично. Гиппиус в письмах Амфитеатрову не напрасну называла их троих «истинно-непримиримыми». А Мережковский ему же писал, что эмиграция — это просто «ужасное имя ужасной страны». Будущее принадлежит, конечно, не ей. Разве не сказано у Данте: «Не созерцание, а действие есть цель всякого творения»? А «Данте в действии — это Муссолини».

Так он писал в обращении к диктатору весной 1936 года, когда Мережковские снова отправились в Рим с надеждой навсегда обосноваться при дворе нового Цезаря. Из этой затеи ничего не вышло. Дуче

принял своего одописца, выслушал славословия («Вы спасли Италию от коммунизма, и это один из поступков, что принесет вам бессмертную славу», «самое истинное и живое — это вы», обладающий «первичной и безграничной гениальностью»), но ничего для Мережковских не сделал. У него были заботы поважнее: полным ходом шло сближение с Гитлером, которого Зинаида Николаевна в раздражении обозвала «идиотом, что с мышью под носом», предстояла большая война, на которую Мережковский втайне надеялся, ибо «последний катаклизм европейской цивилизации» должен был поглотить большевиков бесследно.

До осени 37-го теплилась надежда, что Дуче, выкроив минуту, все-таки распорядится, чтобы воздали должное его апологету. Устав ждать, Мережковские вернулись в Париж. «Данте» вышел по-русски, потом по-немецки. Ни посвящения, ни вступительных страниц с панегириком Дуче в этих изданиях не было.

Это не означало, что мнения автора переменились. Цезарь не оправдал ожиданий, однако политические надежды Мережковский по-прежнему связывал только с фашизмом. Просто отныне его взгляд устремился в другую сторону, к Германии.

В русском Париже многие лишь с недоумением разводили руками, хотя ничего необъяснимого в таком повороте не было. Злобин, который был литературным секретарем Мережковских с 1919 года до самого их конца, впоследствии писал, что свержение большевизма было для них не только главной целью жизни, но мечтой, принявшей маниакальный характер. Призывы к «мировой совести», рисуемые ими жуткие картины большевистских насилий, изображения продавшихся и предавших — все пропало втуне. Мир не хотел услышать истину. Те, кого Мережковский называл не иначе, как каннибалами, нагнали, чувствуя безнаказанность и даже поддержку со стороны Европы, пленившейся «ароматом Сталина». Оглядываясь на свои первые эмигрантские годы, Мережковский пишет: «В лоне вашей европейской сво-

боды, перед зрелищем ужасающего равнодушия, с каким вы относитесь к собственной гибели, я задыхался, как задыхаются заключенные в «пробковых камерах» Чека». Драма шла к своей предсказуемой развязке.

Злобин уверяет, что Мережковский оказался неприемлемым и для немцев. Они не примирились с его патриотизмом, с его верой в грядущее национальное возрождение России. С этим никто не посчитался, когда освободили Париж. Началась волна расправ над сотрудничавшими с оккупантами. По свидетельству Злобина, на Колонель Бонне явилось несколько личностей мрачного вида, они размахивали автоматами и требовали выдачи хозяина. Напрасно — над ним уже не имел власти земной суд.

Но перед концом был эпизод, который скомпрометировал Мережковского больше, чем легенды о том, что он будто бы занимался шпионажем в пользу немцев и сманивал русскую молодежь на службу в гестапо. Вот как этот эпизод описан у Терапиано, доброжелательного, но объективного мемуариста. Перед самым нападением Гитлера на СССР Терапиано, тяжело заболев, оказался в госпитале и там июньским полднем услышал по радио чью-то взволнованную речь. «Говоривший сравнивал Гитлера с Жанной д'Арк, призванной спасти мир от власти дьявола, говорил о победе духовных ценностей, которые несут на своих штыках немецкие рыцари-воины, и о гибели материализма, которому во всем мире пришел конец». Кто-то из французов прокомментировал: «Traître, collabo» — предатель. Терапиано испытывал невыносимый стыд. «Ведь Мережковский столько лет был для нас всех олицетворением духовного и возвышенного начала».

От него отвернулись практически все. Поэт Виктор Мамченко, последнее увлечение Зинаиды Николаевны, остался чуть ли не единственным, кто по-прежнему приходил на Колонель Бонне. Он вспоминает, что перед смертью Мережковский с ужасом говорил о немецких зверствах в захваченных русских городах и что его пиетет перед вновьявленной Орле-

анской Девой с «мышью под носом» стал быстро остывать. Но для окружающих это ничего не переменяло. 7 декабря 1941 года — немцев только-только отогнали от Москвы — Мережковский скорострительно умер. Его отпевали в почти пустой церкви. На кладбище в Сен-Женевьев гроб не провожал никто.

Зинаида Николаевна не перенесла своей утраты. Хотела выброситься из окна гостиной, эмоционально окаменела. Потом вдруг успокоилась, уверяя себя и других, что Дмитрий Сергеевич просто вышел по делам и скоро вернется. У нее диагностировали склероз мозга. Терапиано описывает, как увидел ее последний раз: она лежала на полу, на большом ковре, нарумяненная, причесанная Злобиным, который одел ее в то самое платье, какое она обычно надевала для воскресений. Посидели в столовой за овальным столом, каждый на своем привычном месте. Два стула остались незанятыми: те, где были места поэта Юрия Мандельштама и прозаика Юрия Фельзена. Оба погибли в нацистских лагерях.